

РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ

(10 текстов)

Английский

Тётя Света жила совсем одна в крохотной квартирке на пятом этаже: две комнаты, первая из которых напоминала, скорее, короткий коридор к узкому окну, чем комнату.

Тётя Света не любила её и старалась никого туда не пускать, ссылаясь на беспорядок. Но там – мы однажды подсмотрели – было пусто, тихо и темно: только ржавая раскладушка у правой стены и крепкий низкий стул у самого окна.

Тётя Света несколько лет назад похоронила мужа, и мы догадывались, что в этой комнате он как раз и жил перед самой смертью. Если бы нам не сказала мама, мы и не узнали бы никогда, что у тёти Светы был муж, – сама она вела себя так, словно с самого начала своей жизни в качестве взрослой женщины была одна и никаких мужчин не знала. Детей у неё, насколько мы знаем, никогда не было, потому притворяться старой девой она могла достаточно легко.

Тётя Света работала в нашей школе учителем английского, и мы часто оказывались у неё дома – «тянулись за остальными», как она это называла. Учились мы сносно, но вот с английским случались проблемы – других учителей английского в нашей школе не было, потому все мы, так или иначе, со временем попадали в маленькие, но цепкие руки тёти Светы.

Чужим детям она прощала многое, если не всё, нам же засчитывалась любая недоработка. Все мелочи, вроде бы тут же позабытые в классе, обязательно и неумолимо всплывали у неё дома, когда те из нас, кто уже вкусил английского, приходили к ней «тянуться».

На уроках она никак не подчёркивала нашего с ней родства, будто бы имея нас в виду совершенно одинаково вместе со всеми остальными охламонами, но мы-то видели то, чего не замечали остальные, мы чутко ловили самую незначительную перемену в её настроении. Тёте Свете вдруг становилось холодно, она начинала спокойно, но с силой растирать якобы заочневшие пальцы, едва заметно горбилась, слегка пожимая плечами, словно бы в неосознаваемом, рефлекторном удивлении, и почти неощутимо, но всё же смотрела мимо нас, нам за спину, но не в глаза.

Домой к ней мы шли так медленно, как только могли, однако не прийти было нельзя. Каждый из нас был на голову выше неё, а она походила больше на невзрачную старшеклассницу, чем на взрослую женщину и учителя, но мы, тем не менее, серьёзно её боялись. Частью этого страха был натуральный трепет восхищения и обожания, но какой школьник себе в таком признается?

Это теперь мы понимаем, что подпольно даже для самих себя любили её и переживали из-за того, что она – наша тётка. Только любить мы хотели издали и без надобности приходить к ней домой.

Квартира тёти Светы нам не нравилась даже больше, чем необходимость заниматься английским ещё и за пределами школы, – этой квартире остро не хватало второго жильца. Мы всякий раз его ждали – буквально слышали шаги на лестнице и звяканье ключей за дверью, но эти звуки всегда превращались в другие, и никто не приходил.

Шаги оказывались спонтанными скрипами старых продавленных полов, а звякала, например, чайная ложка в пустом стакане, зачем-то сама по себе, без каких-либо усилий с чьей-нибудь стороны. Тётя Света всего этого как будто бы не замечала.

Она стояла у окна, скрестив на груди руки так, словно сама себя хотела обнять, но передумала на полпути, и смотрела на улицу.

Мы пыхтели вокруг стола за специальными тетрадями, каждый в ожидании своего невесомого подзатыльника, но тётя Света руки распускала редко и била чисто символически, только слегка обозначая действие. Но вот для нас её призрачные подзатыльники были, на самом деле, единственным удовольствием в этой жутковатой квартире, и мы даже бывали расстроены, когда не получали их. Мы не то чтобы воцелели этих лёгких к нам прикосновений, но были, в общем, не против.

«Тянулись» мы долго, до самой темноты, и шли домой со звенящими больными головами, разговаривая между собой коротко и исключительно на английском, потому что все другие наречия начисто забывали, английский же становился для нас чем-то вроде нервного тика – мы ничего не могли с ним поделать, переполненные под завязку его словами.

Когда тётя Света вдруг потеряла свою обычную строгость и совсем перестала обращать внимание на наши провалы или успехи, мы поняли, что с ней случилась какая-то беда. Тётя Света теперь поила нас чаем и гладила сухими ладошками по щекам, про английский вспоминая с трудом и в упор не видя наши специальные тетради, а мы в это время жутко на самих себя свирепели, поскольку не умели прямо спросить, в чём дело.

Мы продолжали приходить, но сейчас это были уже просто гости, а не занятия. Английский отвалился потихоньку куда-то в сторону, на его место пришли торопливые беседы ни о чём. Правда, мы почти всё время молчали, говорила всегда тётя Света – рассказывала сбивчиво какие-то должны быть весёлыми истории из собственного детства, но нам было не по себе, и мы, если смеялись, то чаще всего мимо. Не смеяться было нельзя – из уважения, конечно, но тётя Света, наверное, не замечала наших промахов и, в который раз перескочив на другое, продолжала с чуть отстранённой улыбкой.

Мы не знаем, успела ли она рассказать нам всё, что хотела. Мы отказались целовать её мёртвую, хотя в смерти своей она ничуть не изменилась, только стала немного бледнее. Мы лишь попытались пожать её тонкие детские пальчики, ставшие твёрдыми, как дерево, и не поддающимися прикосновениям.

Она и так была маленькой и хрупкой, а теперь её почти совсем не было – мы с трудом различали её, такую обидно прозрачную, в таком внезапно большом и тяжёлом гробу.

Когда гроб вынесли из квартиры, в самой первой, много лет нежилой комнате с грохотом опрокинулся на спину старый, толстого дерева стул.

13 октября 2011 г.

Папа

Папа ходил и спал в старенькой шинели. Мама ругала папу и просила хотя бы снимать сапоги перед постелью. Папа сбрасывал с грохотом сапоги и падал на простыни, не признавая одеяла, кутаясь в побитую молью, мшистую шинельку. Мама сидела всю ночь на краешке рядом и тихо плакала в носовой платок.

Папа не пил водку, папа не курил, он даже телевизор не мог смотреть – вставал в пять утра и шёл на балкон строгать что-то страшно острым ножом. Этим ножом резались все, только папа не резался – папа облизывал лезвие языком, и ничего не случалось. Наверное, в папе не осталось ни капли крови, вся кончилась ещё много лет назад, тогда, на войне.

У папы было тёмное лицо с неопрятной редкой бородой, а вот глаз его мы не помним – они всегда смотрели куда-то вниз, поэтому вместо глаз были какие-то постоянные чёрные лужицы сморщенной кожи.

Папа почти не разговаривал. Мама тоже научилась почти не разговаривать, но на телефонные звонки отвечала, с трудом заставляя себя вспоминать самые простые слова. По субботам папе приносили пенсию, но папа никак на это не реагировал – так и продолжал сидеть на табуретке, играя ножом. Иногда папа с силой швырял нож в стену, выбивая из неё громадные куски штукатурки. Мама ругала папу, но из другой комнаты, на всякий случай. А потом снова плакала, как ночью.

Нет, он никогда не был другим до войны. Он всегда был такой, с самого начала. Посмотрите на свадебную фотографию – он в той же самой шинели, только чуть поновее, а глаза всё так же смотрят вниз, под ноги, на сапоги. Мама ещё улыбается, но как-то уже сомневаясь. На этой фотографии папа так же сидит на табуретке, а мама стоит слева, чуть позади, положив руку папе на плечо.

Она его любит, до сих пор любит, сейчас, может, даже сильнее, чем раньше, до войны. Его нельзя не любить, говорит она, он такой добрый. Наверное, самый добрый вообще. Мы не спорим с мамой, верим ей всегда, потому что так воспитаны.

Впрочем, если сильно постараться, то да, можно увидеть, можно почувствовать, разобраться – и как будто даже заметить, что папа вот-вот улыбнётся нам. Но у папы отваливается челюсть, и в тёмный провал его беззубой пасти отправляется кусок хлеба с морозными крошками соли. Мы вздрагиваем, поскольку в этот самый момент видим внутри себя, что это и не хлеб вовсе, а плоть наша, скверное мясо его сыновей. Папа, не задумавшись, проглотит каждого из нас, если будет нужно.

Только, если начистоту, лучшего отца нам и не придумать. Он ни разу нас не ударил – даже когда мы дотла сожгли наш прошлый дом. Тогда папа и вовсе не посмотрел в нашу сторону, как будто нас и не было никогда. Просто улёгся в своей шинели на обугленную кровать, не забыв сбросить в угли сапоги, и уснул. Очень тихо, без храпа. А мы стояли рядом, с ног до головы в саже, мама плакала, а соседи – чуть поодаль – просто боялись подойти.

Папа убивает быстро и наверняка любого, кто будет мешать, – и ему за это ничего, потому что он воевал, у него медали, много, мама хранит их в чистой тряпице под одной из половиц на кухне, а папе всё равно – он не за медали воевал.

И вот он так спал посреди пепелища, а мы до самого утра стояли рядом и боялись, что он проснётся, но ещё больше мы боялись, что он не проснётся. Если он умрёт, думали мы, то всё равно не оставит нас. Будет так же бродить по квартире, сопровождаемый теперь уже зримым чёрным ветром, захлёстывая нас своим небытием, и совсем перестанет спать.

Но пуще всего мы боялись, что папа станет смотреть нам в глаза и вспоминать наши лица. И как-нибудь утром сядет к нам на постель и скажет одному из нас: «А ну-ка, иди сюда, сынок».

5 октября 2011

Елены

Дядя Павел человек был сильнопьющий, из-за этого конкретно с придурью – и троих своих дочерей назвал одинаково – Еленой. Старшую принято было так и оставить Еленой, средняя стала Леной, а младшая, соответственно, – Леночкой.

Отец их, выпив, любил подраться и дрался, в основном, с женой и дочерьми – хватал обычно алюминиевую трубку от пылесоса и со всеми последними силами бил по чём попало. Сил у дяди Павла было пока ещё много, потому трубка вся погнулась и сплющилась, а жена его, тётя Мария, и три Елены стали часто ночевать у нас – дядя Павел всё чаще угрожал топором, которым рубил мясо. Топор хоть и тупой, но всё же не полая трубка из алюминия.

Тётя Мария спала в одной комнате с нашей матерью, а Елены – на нашей кровати, за что мы их крепко не любили, поскольку нам тогда доставался совсем дохлый матрас на полу. Елены были жутко стеснительными, спали в одежде, а если мы среди ночи вдруг случайно оказывались рядом – больно щипали нас за плечо.

Мы тогда не могли знать, конечно, что Елена, когда вырастет, станет лётчиком-испытателем, что Лена выйдет замуж за спивающегося писателя, а Леночка сопьётся насмерть сама, – для нас они были все на одно лицо, как близнецы, мы легко их путали и вообще не помнили, кто из них кто, тем более что общее у них на всех имя никак не помогало их различать. Мы упорно звали всех троих Леной, не понимая и не чувствуя разницы между принятыми в их семье вариациями. Елены обижались и подолгу с нами не разговаривали.

Когда старшая закончила школу, а младшая осталась на второй год в восьмом классе, дядя Павел зарубил топором тётю Марию и сел в тюрьму. Елены пробовали жить одни, у них неплохо получалось, но наша мама никак не могла с этим согласиться и кое-как, но всё же уговорила Елену отдать нам Леночку.

Мы думаем сейчас, что старшая ломалась, скорее, для виду, не желая казаться несамостоятельной и слабой, а на деле была рада избавиться от младшей, потому как очень хотела уехать в столицу поступать, а взять с собой Леночку не могла – та к тому времени капитально испортилась и стала почти неуправляемой.

Так Лена осталась жить на их квартире одна, Елена уехала учиться, а Леночка попала к нам в руки. Мы били её почти каждый день. Во-первых, она была одна, а нас много. Во-вторых, она сильно подурнела и совсем перестала нам нравиться. И в третьих – она воровала у нас деньги. По этим трём причинам Леночка постоянно ходила с подбитыми глазами – то правый, то левый, а то и оба. Дважды мы ломали ей нос, один раз – руку, которая срослась неправильно и потом нелепо торчала в сторону птичьей лапой.

Мы не были хорошими братьями. Мама наша работала в больнице, потому дома бывала нечасто, практически всегда ближе к ночи, – и детей своих почти не видела. Кроме, разве что, Леночки, которую чаще всего подбирала на лестничной площадке этажом ниже – никакую и в рвоте.

Лена Леночку к себе не пускала, мы – тоже, но мама не пустить не могла, хотя, подозреваем мы, в глубине души ужасно хотела уметь не пускать, но не могла. Тащила полуживую Леночку по лестнице, шёпотом матерясь.

Мы в такое время, как правило, спали, так как все были жаворонками и ложились рано.

Елена приезжала редко, потом и вовсе перестала, сначала раз в месяц писала короткое письмо, но со временем письма становились всё короче и приходили всё реже, а последней пришла новенькая открытка с самолётом. На обратной стороне, там где положено быть словам, слова были, но мало и вот такие: «Не знаю, что написать. Елена». Одно время мы думали, что она умерла, но как-то раз прочитали о ней в газете – и тогда забыли её уже насовсем.

Лена в гости к нам не ходила, а ходили про неё всякие грязные слухи, что, мол, спит со всеми подряд, лучшая минетчица в городе и прочая галиматья в таком же ключе. Мы не стремились проверить, всё-таки Лена была нам сестра, пусть и двоюродная и не шибко любимая. Но к ней мы хотя бы испытывали минимальную симпатию, а вот Леночку просто ненавидели.

Из школы её поперли – в придачу ко всем своим фокусам она ещё и забеременела. Мама обрадовалась, но Леночка родила мёртвого ребёнка и сошла с ума.

Первый раз в психушку сдали её мы. Леночка в тот вечер пришла домой сама, почти даже трезвая, но вся какая-то мокрая и жалкая – упала в лужу, объяснила нам она. Нам было, в принципе, наплевать, лишь бы не загадила ковры, поэтому мы помогли ей переодеться в сухое, дали стакан чаю и ушли в свою комнату – заниматься кто чем.

Младшие клеили модель самолёта, старшие готовились на завтра в техникум, все вместе слушали радио. В какой-то момент открылась дверь, и к нам вошла Леночка – совершенно голая и с ног до головы перемазанная собственной кровью, но никто не заметил – радио надрывалось, а мы сгрудились вокруг стола, поглощённые напрочь каждый своим делом.

Обнаружили мы её у себя, только когда она начала кричать и легко перекричала радио. Леночка стояла у нас за спинами, смотрела в наши, повёрнутые к ней лица спокойными, добрыми глазами и громко кричала.

Когда уехала перевозка, мы не пошли сразу домой – остались во дворе и впервые нарушили режим: сидели молча на скамейке и курили часов до двух ночи.

Лена через месяц вышла замуж, но на свадьбу нас не позвала, а потом и вовсе продала квартиру каким-то грузинам и уехала с мужем к сестре. Писем от неё не было ни одного. Через год умер в тюрьме дядя Павел.

Можно сказать, мы остались одни – Леночка месяцами жила в больнице, там превратилась в бессмысленную чёрную старушку с подбитой лапкой и окончательно разучилась разговаривать. Дома она, когда возвращалась, почти не бывала, бродила, шаркая разбитыми сандалями, по улицам и собирала пустую тару. На вырученные копейки покупала бутылку самого мутного бырла и с неё за минуты уходила в никуда, в полное небытие.

Когда Леночку нашли мёртвую в траве за овощным магазином, ей было всего двадцать пять. На похороны из остальных Елен никто не приехал.

11 октября 2011

Двоеточие

Нас и сейчас чересчур много, а он всегда был один на любом фоне, кто бы в качестве такого фона ни выступал – мы или же какие-нибудь его унылые одноклассники, а потом и сослуживцы. Даже звали его не так – Роман, когда все остальные были либо серёжи, либо саши, либы вообще димы.

Рома – старший, вроде как свой, но Рома при этом почему-то отдельно, как будто и не сын наших с ним родителей, а некий лучезарный подкидыш. Он на голову выше, на голову умнее, на несколько обидных метров дальше, чем мы, постоянно плетущиеся в самом хвосте конопатые коротышки с обыкновенными круглыми головами стандартных троечников.

Наша семья с самого начала делилась на три неравные части: папа с мамой, потом Рома, а уже совсем потом – мы, плотной кучкой, едва-едва разделённые между собой годом-двумя. При этом самой внушительной частью был, конечно, Рома – его бы в этой классификации следовало ставить на первое место, а нас и вовсе не вспоминать, настолько мы были невзрачны и одинаковы – грубо сработанный задник, не более.

О нас, детях наших родителей, знали, что мы – это «Рома и эти», которых зазорно помнить по именам, можно только постоянно путать, не умея даже толком подсчитать, сколько их там ещё, кроме Ромы. Рома был легален, мы – с большой натяжкой.

На всех фотографиях Рома смотрит куда-то в сторону, когда все прочие сообщество разглядывают объектив. На последней своей фотографии Рома вообще никуда не смотрит, поскольку лицо его наглухо закрыто отрезом белой ткани.

В морге очень старались, но получилось плохо – и не потому, что в нашем городе нет специалистов по приведению умерших граждан в должный вид перед последним их явлением родным и близким, а просто характер ранения был такой, что даже самый-самый специалист опустил бы руки. Не из чего было собирать.

Рома принял выстрел в упор из двухстволки. Смерть мгновенная, не мучился, но лица, с которым можно было бы прощаться, нет, и Ромы тоже нет – слишком рано, мы ещё не успели хотя бы начать понимать, кем он был вообще. Те, кто знал его случайно или по

обязанности, ответят, наверное, что Рома был хорошим милиционером, если таковые в принципе возможны.

Хорошим, но не лучшим, конечно. Он стал бы и таким, но выстрел из двух стволов поставил на нём, его желаниях и возможностях жирное двоеточие, за которым, вопреки правилам любого языка, не оказалось ничего, кроме постоянных теперь тишины и пустоты тут же схлопнувшейся до предельного минимума Роминой комнаты.

Мы долго не могли зайти в неё, отважились только на сорок первый день – и поразились тому, насколько она, на самом деле, маленькая. Маленькая и нежилая, только нежилая уже совсем по-другому, не так, как при Роме.

Рома в своей комнате спал – не больше пяти часов, потому что спать не любил, искренне веря в то, что сон – занятие совершенно бессмысленное, обыкновенное убивание времени, и если бы Рома мог, то завязал бы со сном навсегда, но физиология брала своё, и Рома крайне неохотно ей подчинялся – всегда с весёлым ворчанием, начисто отрицая эту самую физиологию и ссылаясь на лень, в которой, якобы, всё и дело.

Утренний Рома носился по квартире с увесистой чашкой кофе в одной руке и с очередным учебником – в другой, а мы в эти минуты ненавидели старшего брата максимально чёрной ненавистью – ещё и потому, что читал он только вслух и не бубнел при этом, а почти даже пел.

Мы затыкали одно ухо одеялом, накрученным на кулак, а второе изо всех сил прижимали к подушке, но помогало не очень – и приходилось уже самим вываливаться в отнюдь не гостеприимную реальность пяти утра любого дня, каким бы он ни был – пусть праздничным, пусть простым и плоским, без разницы.

Рома, конечно, был нам рад. На кухоньке топтались едва-едва адекватные так дерзко и резко наступившей яви родители, стояли в очереди в ванную мы, полуодетые и чуть живые, а Рома на всю квартиру занимался уроками.

Мы от таких каждодневных его занятий готовы были выть, но если Рома вдруг уезжал на несколько дней, мы в первые дни из этих нескольких просыпались так же рано, но в пустоту. Ромы было чересчур, но без него почему-то не было вообще ничего, даже нас.

Мы становились полупрозрачными и тупо шатались по внезапно такой огромной и тихой квартире. Папа с мамой в такие утра сидели на кухне по разные стороны стола, молчали, и лица у них делались напряжённые и почти злые, а мы, не умея мириться с тишиной такого масштаба, нарочито ссорились между собой и, бывало, дрались, занимая и отвлекая себя таким образом на все ранние часы.

То, что Рома пошёл в милицию, вряд ли удивительно: он умел, но сильно не любил учиться и, родительским настойчивым по поводу института намёкам и пожеланиям вопреки, пошёл сначала в армию, а потом и в органы. Ему нравилось. Теперь по утрам он открыто пел, поскольку, хоть и сгнули учебники, привычка заполнять утреннее пространство звуком осталась.

Только не нужно думать, что Рома был прямо совсем одуванчиком – он бывал резок и жёсток вплоть до жестокости, но проблема в том, что таким его помнить нам едва ли хочется. Мы помним и понимаем его исключительно утренним, пусть даже и сквозь наши гудящие от недосыпа головы.

Мёртвого Рому память минует ради простейшего самосохранения, рассеивая укрытую белым горизонталь нашего брата в лохмотья плохо запомненного сна, – такой Роман – без лица, с одними только пожелтевшими руками поверх остановленной груди – из области разве что дурных видений, невсамделишный, плохо придуманный и чужой.

Сейчас уже не важно, что застрелил его спятивший от иррациональной зависти сослуживец, – мы-то знаем, что смерти никакой нет, есть только особый двойной щелчок выключателя, после которого из отдельно взятой жизни тёплым соком выходит её свет – и больше его никогда не бывает, как ни щёлкай. Утро беспощадно чернеет, а комната брата сжимается до размеров обувной коробки. Игрушечные стол, стул, шкаф – и кровать, много лет ночующая сама по себе – в переполненной смутными веточками невозможного теперь будущего пустоте.

Петь по утрам мы так и не отважились.

17 октября 2011 г.

Варежки

Таня училась с нами в одной школе и в каком-то смысле была нам сестрой – её папа много лет назад ушёл от нашей мамы к Таниной.

Он, кстати, раньше часто ездил с нашим отцом на рыбалку, а потом перестал. Возможно, на последней из этих рыбалок они окончательно рассорились – точно мы не знаем, но постепенно дядя Лёша – так его звали – из нашей жизни выпал.

Лицо его мы забыли и готовы были вообще прекратить помнить, кто он такой и зачем, но слишком часто натыкались на Таню, которая с каким-то злым упрямством всякий раз напоминала нам своего отца. Она не была на него похожа внешне – маленькая, с тяжёлой круглой головой, смотревшая всегда настороженно из-под крупного лба, как будто бы голову её постоянно тянет к земле.

А дядя Лёша был высокий, толстый и с длинным носом против Таниной конопатой кнопки. Дядя Лёша с чего-то взял, что все толстые люди весёлые и добрые, и терпеливо старался сам таким быть, но получалось не очень, он заметно нервничал и, нервничая, дико фальшивил, сыпал никому не понятными шутками и сбивался на бляенье вместо смеха. Мы легко замечали, когда он злился, из последних сил выдавливая из себя приветливые по форме слова, до хруста переполненные едва сдерживаемым бешенством.

При нас он не сорвался ни разу, а с папой, видимо, поругался, не сдюжив. Папа человек едкий, не умеющий врать для дела, каким бы оно ни было, с папой вообще никто не мог ужиться, кроме нас и мамы. Мы привыкли и не обращали внимания – он всё равно ничего нам не сделал бы, раз за всё наше детство ни разу не поднял на нас руку.

Когда дядя Лёша исчез, мама взяла себе в привычку время от времени с явным удовольствием повторять, что, мол, как хорошо, что кончилась эта странная дружба. Повторяла вроде бы сама себе, но обязательно в папином присутствии, вскользь ударяя папу, на первый взгляд, безобидными словами, которые от многократного повторения набрали, однако, силёнок и били всё больше.

Таня не корчила из себя хохотушку, она по не совсем понятной нам причине считала себя нашим главным врагом и злилась в нашу сторону очень похоже на дядю Лёшу, с теми же интонациями, хоть и без слов. Ходила за нами после школы по пятам, в пяти метрах, и мешала страдать разнообразной занятной фигнёй просто своим присутствием.

На неё невозможно было не обращать внимания. Она давила нас взглядом, таким же тяжёлым, как её аномальная голова. Стояла и зырила.

Мы до боли в животе хотели её побить, но не решались – боялись дядю Лёшу. Мы чересчур хорошо помнили, как дядя Лёша швырял старшеклассника, расквасившего Тане нос, – пацан летал от лужи к луже грязным кульком, а дядя Лёша снова доставал его из грязи, встряхивал и тащил к очередной луже, в которую с силой вбрасывал уже почти не живой кулёк с глупыми костями.

Таня ходила за нами каждый день, по чуть-чуть сокращая дистанцию, и через какое-то время получилось так, что мы ходили уже все вместе – несмотря на мифическую «вражду», в причинах которой мы так и не разобрались и решили просто её аннулировать, упразднить за ненужностью. И перестали помнить все недобрые взгляды в нашу сторону.

А потом и вовсе поголовно в Таню влюбились. И уже не понимали, как нам могла не нравиться её большая голова – и злые глазищи, и конопатый маленький нос, и такие аккуратные детские ладошки, всегда чистые, но сильные, и низкая чёлка на лоб, чтобы прятать его.

Таня на удивление быстро и ловко бегала и мало чего боялась. Говорить она умела, но не любила, и за это мы ценили её ещё больше.

Наша в неё влюблённость была совершенно невинного толка, поскольку как женщину мы Таню не воспринимали. И в смерти её мы не виноваты, честно, даём зуб.

Конечно, идея пойти зимой на тарзанку была только нашей, но мы же не заставляли Таню идти вместе с нами и с нами же на этой самой тарзанке болтаться над тонким ещё льдом озера. Таня решила сама, почти без нашего участия.

Понятное дело, она сорвалась: варежки прилипли к перекладине, а Танины ладошки из них выскользнули. Таня прыгнула к озеру в темноту, а к нам вернулась одна только перекладина с налипшими варежками, без Тани.

Она упала как-то очень тихо – по крайней мере, мы ничего не услышали. Только когда сбежали вниз, ко льду, увидели в нём неровную тёмную дыру, над которой темнота подступающей ночи как будто бы сгущалась в непроглядное чёрное молоко.

Мы битый час елозили животами по льду, пытаясь хоть как-нибудь подтянуться к дыре, но ничего не получалось. После мы догадались позвать взрослых и, предельно сосредоточенные и серьёзные, бежали к ближайшему работающему автомату, задубевшими пальцами выковыривая из карманов двушки.

Рыдать мы стали гораздо позже – когда в комнату к нам, притихшим от усталости и ошеломлённым, заглянул отец, вроде бы такой, как обычно, но вдруг какой-то маленький и детский, с торчащим с затылка смешным хохолком. Посмотрел на нас, прищурившись, и

вышел вон. А мы всё поняли и взорвались плачем – отец будто бы всем своим видом разрешил нам снова быть детьми.

В школе долго шушукались про «несчастный случай», в нашу сторону стараясь не смотреть. Учителя словно в упор нас не видели, но гнобить не стали. В общем, нам повезло – дядя Лёша не пришёл нас убивать, чего мы, конечно, ждали и боялись. Он, как мы потом узнали, спешно уехал из нашего города в иной, нам уже не известный.

Злополучную тарзанку мы срезали своими руками и никак не могли понять, что делать с этими дряхлыми палкой и верёвкой. Остановились на огне. Костёр получился хилый, жить не хотел и, если бы не таблетка сухого спирта, вообще сдох бы на половине дела. С горем пополам тарзанка перестала существовать.

Но вот непонятно куда подевавшиеся варежки снились нам иногда – вылетающими на перекладине из темноты. Розовые такие, совершенно девчачьи.

13 октября 2011 г.

Пальцы

Вот этот странный, не похожий ни на кого из нас человек на фотографии – дядя Андрей. На самом деле он – брат мужа маминой двоюродной сестры, но мы не знаем или не помним слова, которым метят таких родственников, потому для нас он просто дядя Андрей.

Самый высокий, самый худой, с гладким голым куполом черепа – удивительно вытянутым вверх, будто неземной белёсый овощ. Дядя Андрей был лыс, но лыс без достоинства, лыс беспомощно – лысина ему не шла, он её жутко стеснялся и круглый год ходил в одной и той же зелёной шляпе из мягкого фетра.

Впрочем, шляпа ему тоже не шла – она слишком торчала над ушами, будто бы наполовину заполненная, например, ватой и потому до упора не налезавшая. Уши дяди Андрея были чересчур обыкновенными для всей остальной фигуры и своей заурядностью её даже портили – какие-нибудь хрящеватые лопухи добавили бы к общей нескладности его организма последний курьёзный штрих, и дядя Андрей стал бы, не сомневаемся, почти красив, а так он всегда казался нам немного незавершённым, как бы недорисованным – будто бы потерял что-то в себе по пути к нам.

Дядя Андрей никогда не курил, не пил водку и на семейных застольях до определённого момента сидел тихо, возвышаясь над остальными на добрый метр и уложив костлявым ромбом вокруг почти пустой тарелки свои удивительные руки.

Казалось, что в каждой его руке по два локтя, настолько они были длинны. Тонкие белые пальцы его с небывало овальными голубоватыми зеркалами запредельно отполированных ногтей поражали наше воображение. Мы, рассеянные промеж взрослых за исполинским, ещё дореволюционным столом, тайком сравнивали свои короткие корявые – с его паучьими бамбуковыми, немного, наверное, этой паучести опасаясь, но не сильно, поскольку опаску легко побивало восхищение.

Дядя Андрей был музыкантом. Играл он необыкновенно лихо и лучше всех на редком для наших краёв инструменте – аккордеоне. Мы знали гармошку, знали баян – сами пошли потом на него в музыкалку, но аккордеон впервые увидели в руках дяди Андрея.

На застолья непьющий дядя Андрей попадал исключительно из-за своего таланта и диковинного инструмента. В нашей семье никто не умел. Посмотрите на пальцы наших взрослых, жадно вцепившиеся в стаканы, – такими сардельками непросто хотя бы ключи взять из кармана, куда там играть.

Все наши были коротышки-строители, жёсткие по усталости и страшные по пьяни, но отходчивые и вполне душевные когда надо. Муж маминой двоюродной сестры, дядя Степан, сильно походил на дядю Андрея, но был как-то пониже и попроще и быстро умер от туберкулёза. Никто сначала не понимал, почему и зачем нужны эти люди в нашей семье, – до первого большого застолья, на которое длинные братья явились с потёртыми чёрными футлярами.

Андрей и Степан знали все песни вообще из тех, что были в ходу в то время. Андрей только играл, а Степан ещё и пел, аккомпанируя себе на балалайке – инструменте для нас привычном, но в руках дяди Степана расцветавшем звуками из какого-то другого, большого и несоразмерного с нами мира.

После первой же песни все наши поняли, за что тётя Ира, мамина двоюродная сестра, вышла замуж – за музыку! – хотя, конечно, вряд ли кто-нибудь из этих крепких недоросликов смог бы такое сформулировать – и тётя Ира в их числе.

Андрей и Степан оба работали в одном оркестре – народных инструментов, хотя мы, если честно, не совсем понимали, каким боком в эти народные вписывается аккордеон, но долго над этим не думали, предпочитая больше слушать, чем думать.

Без наших музыкантов теперь не обходился ни один праздник, а когда дядя Степан умер и наш личный маленький оркестр осиротел ровно наполовину, дядя Андрей постарался быть за обоих и начал петь, играя при этом в два раза кудрявее, но вышло как-то не очень. Пел дядя Андрей глубоким басом против мягкого тенора дяди Степана, а от баса пахло церковью или оперой, но никак не более доступными неглубокой душе наших недомерков народными инструментами.

У наших были очевидные проблемы со слухом при жгучей любви к музыке, но мешать дяде Андрею никто не пытался и замечаний его басу не делал даже в пьяной свирепой дури. Дядя Андрей догадался сам и петь перестал. Просто играл, мастерски добавляя партию голоса поверх остального звукового массива какими-то потайными для нас клавишами аккордеона.

Уходил дядя Андрей всегда немножко раньше остальных и, впрочем, по другим каким-то поводам обычно не появлялся, будучи человеком вне музыки замкнутым и диковатым. Мы редко слышали его голос, на наше «здравствуйте, дядя Андрей» он обычно только кивал длинным замедленным кивком, будто бы аккуратно клюя крупным белым носом воздух перед собой.

Руку взрослым подавал неохотно, поскольку наши привыкли давить и жать чужие пальцы, как в последний раз, и скромных бледных рукопожатий категорически не понимали, но к фантастической ладони дяди Андрея быстро приноровились и старались с ней не забываться. Дядя Андрей руку другому не жал, а осторожно обнимал, совсем чуть-чуть надавливая и стесняясь своих необычных пальцев.

Умер он тоже необычно – его ударил сзади по голове боковым зеркалом большой красный автобус, из-за гололёда не вписавшийся в предусмотренную остановку.

Дядя Андрей долго лежал в больнице, тревожно уставясь в потолок из-под сероватой шапки бинтов, а пальцы его лежали поверх одеяла – неподвижные и совершенно мёртвые. Он умер, так и не сумев никого из наших узнать и превратившись в окончательный бамбуковый белый скелет с глубоко запавшим взглядом.

На поминках было непривычно тихо – ни одной, даже удобной к моменту печальной песни. Аккордеон тётя Ира через несколько дней продала за большие деньги.

14 октября 2011 г.

Каблуки

Нам было совсем немного лет, когда отец впервые с работы пришёл не к нам домой, а к соседке, тёте Жене.

Мы как раз торчали у самого подъезда, вяло играя в ножички, когда он появился во дворе, пошёл к нам, но прошёл мимо нас, как будто это и не мы, а просто так – вообще дети. Он сосредоточенно вышагивал, опираясь на палку, – левая нога его, с лихо отставленной ступнёй – словно он собирается затанцевать, коротко, но ёмко чиркала пяткой по асфальту.

У всех левых отцовских башмаков был безнадежно испорчен каблук, нормальный человек такую обувь носить бы не смог, поэтому мама всегда их выбрасывала, как только левый каблук истирался до самого нельзя и отрывался, – правые башмаки оставались лежать под кроватью родителей в серых сырых коробках до самой смерти мамы, после мы вынесли их на помойку.

Мама не говорила, зачем и кому они нужны, а мы не спрашивали – у нас в семье не принято было спрашивать, как, в принципе, и говорить. Отец никогда не разговаривал с мамой, мама будто бы не замечала нас, а мы без всякого напряжения молчали между собой.

Отец прошёл мимо нас, даже не посмотрев в нашу сторону, на что мы, может, и не обратили бы внимания, если бы он не был так нарочит в своём упорстве не видеть нас. Он, покраснев от натуги, старательно смотрел в себя и вышагивал поэтому нелепо подпрыгивая, хлопая себя портфелем по бедру и даже как будто повизгивая от чрезмерных усилий и злости на себя.

Перед самым подъездом он остановился, поставил портфель, вынул из кармана плаща чудовищно грязный платок и принялся утирать им лицо – в этот момент ветер сдул с него шляпу. Отец вскинул руки с платком вверх, но успел только помахать ими над лысиной – так, будто сдавался навсегда чужой воле, выбрасывая над головой когда-то белое знамя. Шляпа шлёпнулась в лужу.

Мы уже не играли, ножик торчал в земле, а мы стояли, руками в карманы курток, и самые старшие из нас понимали, что всё, а младшие только чувствовали это «всё», но понять ещё не могли – и потому тихо плакали.

Отец затолкал платок в карман, подхватил портфель и пошёл дальше, в провонявшую чужими ссаками темноту подъезда. Через несколько минут мы увидели бледное лицо тёти Жени в правом от подъезда окне второго этажа, из-за спины у неё кто-то выглядывал, вытирая каким-то белым комком тёмную лысину.

Мы пошли домой, ножик остался торчать, а мама теперь каждый вечер садилась у стены и слушала, прижав ухо к обоям, отцову новую жизнь.

Когда отец умер, его в красивом гробу вынесли из подъезда и поставили на две табуретки. Лицо у отца сделалось худым и чёрным, в правой руке он, как нам показалось, всё так же судорожно сжимал тот же самый платок, только теперь чистый и с красной вышивкой. Новую, вместо старой палки, трость тётя Женя сама подложила отцу в его последнюю постель, а потом вдруг ноги перестали её держать, и тётя Женя плюхнулась задом на асфальт, неловко уцепившись голубыми пальцами за мёртвый рукав уже не нашего отца.

Мы испугались чего-нибудь жуткого, что могло бы случиться дальше, – например, тёти Жениного из самого нутра воя, – поэтому просто убежали так далеко, как умели, к самому озеру, к бомжачьим холодным кострам.

Вечером мама снова села у стены – слушать. Мы боялись её, когда она вот так слушала, боялись её реакции, но мама всегда оставалась спокойной. Осталась такой она и в этот день – сидела, не двигаясь, прижав ухо к обоям. За стеной на разрыв орал телевизор и кто-то довольно смеялся папиным голосом. Мы, не включив свет, сидели на кухне и смотрели в окно – там наискось и быстро-быстро бежал мимо всех нас первый снег.

9 октября 2011

Лёня

У тёти Лёни не хватало двух пальцев на левой руке. Странное полумужское имя – Леонида – как будто бы зло подшутило над ней: тётя Лёня долго служила в армии, там ей и оторвало пальцы разорвавшейся прежде времени гранатой.

Тётя Лёня любила выпить – сидела одна за столом на кухне и пересказывала сама себе последние новости. Потемневшую рюмку подхватывала со стола трёхпалой рукой, начисто игнорируя целую, – тётя Лёня не любила правую за здоровый вид и считала её во всём виноватой. Тётя Лёня была левшой.

Мы же в такие пьяные минуты сидели под дверью кухни, стараясь дышать как можно тише, и с нетерпением ждали, когда тётя Лёня объявит главную новость дня. Главная новость каждый раз была разная, только смысл всегда один – опять все умерли, на этот раз, например, от тифа. Если все умерли, то нам пора – мы хватали друг дружку за одежду и бежали из дома на улицу, подальше из нашего двора, за овощной магазин, за больницу, – прятаться на задворках морга, сюда она точно не дойдёт, заблудится.

Тётя Лёня, когда напивалась, не против была кого-нибудь из нас почти убить. Она и так не особо налегала на ласку, измученная тёмным прошлым и недостающими пальцами, а добравшись до кондиции, лупила нас чем попало – даже табуретом, на котором перед этим сидела. Став постарше, мы стали и немного умнее – не ждали уже главной новости, а сразу шли на улицу, если Лёня долго не выходила из кухни.

Самые окрепшие из нас понимали всё, едва заслышав первый воздушный ещё стук стекла по столу – это бутылка становилась на стол, а рюмку тётя Лёня, перед тем как поставить рядом с бутылкой, пару минут вертела в трёх пальцах, проглядывая на свет. Бояться было чего даже самым взрослым из нас – Лёня весила все сто двадцать и ростом своим задевала притолоку.

На улице мы, конечно, хвастались сломанными пальцами и ушами, только повторять никому не хотелось, для почету хватит и этих переломов и шрамов. Понятное дело, мы никому не признавались, кто это нас так, – сочиняли себе случайные бои со взрослыми мужиками, у которых мы якобы попросили закурить, а они отказались. Но потом силы у тётя Лёни кончились.

В первый раз она просто упала на пол, с грохотом опрокинув табурет и расквасив себе нос и губы. Мы не стали её бить, потому что нельзя бить единственного родителя, пусть и косвенного. У нас, кроме Лёни, никого не было тогда, и своего существования без неё мы просто не представляли. А ещё она умела смеяться очень по-женски, чего от неё не ожидал никто, только мы знали этот её секрет. Смеялась она так редко, но именно за этот смех мы её и любили, поскольку смеялась она нам – такая у неё случалась иногда ласка в нашу сторону.

Лёня стала падать всё чаще, однажды сломала себе руку и после этого пила уже в постели, вцепившись в рюмку непременно левой, пусть даже и загипсованной рукой, громко ругая правую. Потом Лёня вообще перестала вставать.

Мы носили ей бутылку, подсовывали почти пустые щи, которые приноровились к тому времени готовить сами, а Лёня лежала молча и только шевелила последними пальцами левой руки – правая двигаться перестала и, похоже, ушла из жизни.

Перед самой смертью тётя Лёни мы отважились и вымыли с мылом её большое тело – соседи начали жаловаться на запах и угрожали участковым: похороните, мол, того, кто у вас умер, будьте людьми. Мы елозили сырой тряпкой по белому телу, а Лёня едва слышно рыдала от стыда, прикрывая глаза искалеченной рукой.

Когда она умерла, кровать под ней провалилась.

Денег на гроб у нас не было, мы закатали Лёню в старый ковёр и ночью выволокли в лес, где и прикопали. Участковому сказали, что тётка уехала в родной город и не вернулась, на что тот только кивнул головой и вышел, так и не прихватив ничего по пути – нечего было, никакого антиквариата, кроме раздавленной кровати.

Потемневшая тёткина рюмка, которую мы прятали, через девять дней треснула пополам. Ну что ж, пришлось выбросить.

6 октября 2011

Серёжа

Десять лет назад дядя Серёжа сошёл с ума, и ему, по слухам, сделали лоботомию. Мы толком не понимали ещё, что такое лоботомия, поэтому считали дядю Серёжу крайне опасным и старались не выпускать его из виду, когда он выходил во двор – посидеть на скамейке.

Конечно, никакой он нам был не дядя, но так его звали во дворе – дядя Серёжа, фамилия у него была Капустин, но её никто не помнил. Серёже Капустину было уже за сорок, он жил на пенсию по инвалидности и ходил круглый год в одних и тех же плаще и берете, нечеловечески замызганных. От дяди Серёжи серьёзно пованивало, ещё и поэтому мы боялись его – запах был острый, так воняли дохлые майские жуки в банке, которых мы однажды забыли на подоконнике на даче, а потом взяли и на свою беду понюхали.

Дядя Серёжа всегда улыбался, но не бессмысленно, а как-то даже с хитрецей, с характерным ленинским прищуром, за что мы его особенно не любили. А ещё за слюну в уголках рта, за эти постоянные вязкие желтоватые комочки. Неужели, возмущались мы, нельзя утереться рукавом? Но в рукав дядя Серёжа предпочитал иногда сморкаться – прямо в локтевой сгиб.

По пятницам дядя Серёжа выводил из подъезда старенький велосипед и очень долго ходил с ним по двору, крепко держась за руль. Потом останавливался, выуживал из воображаемой сумки несуществующие воздушные письма и газеты и аккуратно распихивал их по таким же воздушным почтовым ящикам. Десять лет назад Серёжа Капустин работал почтальоном.

Мы резали колёса его несчастному велосипеду, гнули спицы, открутили и спрятали в подвале сиденье, но «воздушный почтальон» дядя Серёжа на такие мелочи не обращал никакого внимания. А может, просто не понимал.

Здоровался он буквально со всеми, кроме, разве что, собак и кошек – этих он любил и всегда гладил, – правда, на расстоянии, как будто не осмеливаясь беспокоить их настоящим прикосновением. Мы же собак боялись, а кошек расстреливали камнями.

Дядя Серёжа Капустин был, в общем, вполне безобидным дурачком, которого никто не боялся, кроме нас, детей. Нам же он портил жизнь своим постоянным присутствием во дворе и снился по ночам. Мы всерьёз верили, что он только и ждёт, чтобы при случае задушить одного из нас, за что ему, дурачку, ничего не будет – дурачок же, а нам придётся до конца дней своих ходить в гости на кладбище.

Мы боялись его больше, чем даже старух, которые считали наши зубы и пальцы с целью убить нас, детей, таким чёрным подсчётом, – боялись и ненавидели, и потому однажды договорились между собой прикончить дядю Серёжу, воткнуть ему в горло ножик или ударить по голове камнем.

Ножи у нас были никудышные перочинные коротышки, такими хотя бы порезаться и то – трудно, потому первый способ мы забраковали. Осталось найти подходящий камень и придумать, как заманить дядю Серёжу за овощной магазин, где никогда никого не бывает, только гниют в исполинской траве старые ящики.

Камень мы искали долго, придирчиво перебирая возможные кандидатуры на берегу озера, – там было много всякого мусора, в том числе и разнообразного булыжника, но нужный нам по весу никак не попадался. Тогда мы решили сложить несколько штук вместе в дряхлую наволочку, затянув её потуже, чтобы камни плотно прилегали друг к другу и не рассеивали силу удара.

Сложнее всего оказалось заманить Серёжу за овощной. Серёжа сидел на скамейке, улыбался нам и посекундно здоровался с нами, но идти упорно никуда не хотел, мотая отрицательно головой на наши обещания налить стакан водки или показать дырку в стене

бани. Мы уже начали внутренне соглашаться с тем, что ничего не выйдет и придётся и дальше терпеть дядю Серёжу в нашем дворе, но тут самый младший из нас нашёл решение: он так неожиданно завопил дурным голосом, что даже мы перепугались и, ничего поначалу не понимая, чуть не ринулись бежать.

Позже мы разобрали слова, на которые дядя Серёжа отреагировал своеобразно, бросившись в подъезд за велосипедом: «Дядя Серёжа, почта горит!»

Дядя Серёжа бежал сноровисто, не роняя велосипед и ориентируясь на истошный сквозной крик про горящую почту. «Почта горела», конечно, за овощным магазином, там под ящиками была спрятана нафаршированная камнями наволочка, а мы вдруг поняли, что не готовы убить – пусть даже дурачка Серёжу, но деваться было некуда. Поэтому мы достали из-под ящиков наволочку, отдали её самому старшему, и тот ударил дядю Серёжу в выпуклый затылок.

Серёжа как раз пытался увидеть на задней стене магазина «горящую почту», когда с неуместно мелодичным хрустом лопнул, как нам показалось, его бессмысленный череп. Велосипед упал рядом, жалобно звякнув.

Мы не стали смотреть на конвульсии, не желали видеть никакой крови, мы спешно сбежали домой и три дня в невыносимом ужасе сидели дома, каждую секунду ожидая прихода милиционеров с собаками. Никто не пришёл.

Через неделю дядя Серёжа снова вытащил во двор свой переколёженный велосипед. Постоял с ним немного у подъезда и отвёл назад. И с тех пор уже не работал «воздушным почтальоном» – наверное, потому, что почта его сгорела. С этой почтой сгорел и наш страх. Когда дядя Серёжа через много лет умер, мы взяли за его похороны – и вот тогда и узнали, что он Капустин.

Квартира его была на удивление пустой, светлой и чистой. На подоконнике в кухне мы нашли большую общую тетрадь с единственной записью на первой странице: «Сегодня хорошая погода». Дядя Серёжа не обманул – погода и правда была слишком хорошей для марта, поэтому, разойдясь с крыльца крематория в разные стороны, мы со спокойным сердцем забыли покойника навсегда.

10 октября 2011

Папиросы

Дед Миша курил одну за одной и потому имел приятно оранжевые усы при белоснежной бороде.

Он не признавал самокрутки и покупал исключительно «Приму» – шёл в магазин с верёвочной авоськой, набивал её плотно белыми с красным пачками, а дома вываливал всё это добро на стол в кухне, потрошил пачку за пачкой и долго, с предельным тщанием считал папиросы.

Не потому, что их могло не хватать, а исключительно удовольствия для. Правда, удовольствия по отношению к нам достаточно сурового, потому как не дай бог даже случайно нарушить дедов медитативный подсчёт. Дед, как правило, хватал нарушителя за ближайшее ухо и с силой выкручивал, оставаясь удивительно глухим к любым воплям.

Вдоволь наигравшись с чужим, стремительно синееющим ухом, дед Миша все подсчитанные папиросы сгребал обратно в кучу и начинал подсчёт сначала. Когда заканчивал, брал с подоконника общую тетрадку в жёсткой обложке и вписывал в неё дату, а напротив – количество папирос. Трогать тетрадь, понятное дело, строго воспрещалось.

Часть подсчитанных папирос дед Миша складывал в потёртый портсигар с танком на крышке, остальные – в специальную большую коробку из тонкой жести. В нашей семье эта заветная коробка так и называлась – «папиросная» – и стояла у деда в комнате на тумбочке при кровати. Из коробки дед курил дома, а портсигар брал с собой на улицу, закладывая его перед самым выходом в левый карман гимнастёрки.

Спички он каждый раз забывал, потому мог по несколько минут сидеть за доминошным столом с нераскуренной папиросой во рту, злобно зыркая на недогадливых однокашников, а попросить – язык не поворачивался. Дед Миша никак не хотел признать свою отставку и видел в остальных людях не людей, а только недалёких и медлительных подчинённых, поголовно страдающих разжижением мозгов и куриной слепотой.

Мы ему такой подход всё же прощали, поскольку по-настоящему злым он никогда не был – просто раздражался чаще, чем следовало.

Он был уже старый, но всё ещё крепкий – может, за счёт двух метров роста и постоянной жизни на улице, а может, ещё почему, мы теперь не узнаем. Во дворе его натурально боялись, но с уважением, хотя многие откровенно заискивали – дед принимал это как должное и не расстраивался, когда к его папиросе с поклоном подносили шипящую спичку. Он коротко кивал, слегка мазнув глазами очередного поджигалу, и снова уставлялся в доминошные костяшки у себя на ладонях.

Как только кончалась одна папироса, он степенно откладывал в сторону костяшки, вынимал из кармана портсигар и из него брал другую – со значением, чтоб заметили. Но замечали не всегда сразу. И дед опять злился, швыряя в соседних старичков короткие взгляды, а правый ус его потешно задирался вверх.

Дома дед подкуривал сам, чаще всего – от свечи в подсвечнике, с которым вечером долго ходил по квартире, стуча сапогами и не давая никому спать. Мы терпели, натянув одеяла под самые подбородки, поскольку знали, что скоро он успокоится у себя в комнате и будет курить там, сидя на кровати и вперившись в пустое пространство примерно в метре перед собой.

Впрочем, пустое условно – в этой пустоте жил своей приятно замедленной плавной жизнью голубоватый папиросный дым, а дед, наверное, за этой самой жизнью старательно наблюдал. Может, даже и записывал в ещё одну тетрадку – но мы такой тетрадки не видели и потом, когда деда не стало, нигде не нашли. А не стало его по меньшей мере странно – он просто однажды не пришёл домой.

Мы боялись, что с ним случился где-то на улице удар, но его коллеги по домино такой расклад решительно отрицали – они своими глазами видели, как дед пошёл домой, как распахнул свежепокрашенную дверь в подъезд и скрылся за ней, возвращённой на место доводчиком.

На всякий случай мы позвонили в больницу, а после – в морг, но двухметровых стариков с оранжевыми усами к ним сегодня не поступало и не поступило ни завтра, ни послезавтра,

ни потом. Мы обошли весь город, надеясь обнаружить деда Мишу без памяти, но живого и целого на какой-нибудь скамейке, но на скамейках сидели другие, совсем чужие деды – короткие и без усов.

Не зная, как с этим всем смириться, мы просто стали ждать, часами сидя у окна на кухне и листая дедову тетрадь с подсчётами. Прочитанные цифры ни на какие мысли не наводили, а только зря бредили нутро.

Дед не умер, знали мы, но здесь его нет, знали мы ещё увереннее, но где он – мы знать не умели, и незнание это серьёзно бесило. Дело даже и не в любви, а в том, что каждое предложение обязано на хвосте иметь точку, а в нашем точки не было – как будто челюсти заклинило на полуслове.

Мы тоже пристрастились к «Приме», но дедову коробку трогать не решились – она так и стоит, правда, теперь не на тумбочке, а у кого-то из нас в шкафу. Авоськами папиросы мы не покупаем, но каждый всё равно тайком потрошит свою пачку и шёпотом считает, будто бы сам процесс подсчёта является ключом к деда Миши особенной тайне, – а мы все верим, что такая тайна есть – или, по крайней мере, была.

И никто никогда не признается другому и даже себе в том, что чётко знает теперь, кем обернулся дед Миша, – когда видит в прокуренной пустоте перед собой, как раздражённо задирается вверх дымный лихой ус.

12 октября 2011

